

Советские тексты Дмитрия Пригова

* * *

Бывает – рабочий, а чистый подлец
Бывает – художник, а честный, достойный
Бывает – член Политбюро, наконец
В отдельных поступках не очень достойный
Жизнь много сложнее чем любой приговор
Какими же мерками мерить полезем
Когда бы всяк честный был столь же полезен
У нас не случился б про то разговор

* * * Восток – он все время на Запад глядит А Запад – глядит на Восток А кто это там посередке сидит? - А это сидит СССР Глядит он на Запад – сомнение берет Глядит он тогда на Восток Восток его тоже к себе не берет Да не очень-то и нужен - Восток Вот он на себя как на центр глядит Он центр и есть – СССР Восток на окраине где-то сидит А Запад уж и вовсе – незачем

* * *

Дело было вечером
Делать-то было в общем нечего
Да и потом делать было нечего
А потом и вовсе уж делать было нечего
В смысле - ничего не поделаешь
Хотя это было с самого начала

* * *

Свет зажигается – страшный налет
На мирное население
Кто налетает? и кто это бьет
Вечером в воскресенье

Я налетаю и я это бью

Скопища тараканов

Громко победные песни пою

Воду пускаю из крана

Милые, бедные, я же не зверь!

Не мериканц во Вьетнаме!

Да что поделаешь – это увы

В нас, и вне нас, и над нами

* * *

Женщина вот загорает на пляже

Вся полная прелести и божества

Не представляет сама она даже

Опасности для своего естества

Всё в неё смотрит бесшумно и зорко

А через год она может родит

Может зверушку, а может ребёнка

Может от солнца, а может и нет

Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство с глубоким прискорбием сообщают, что не стало графа Льва Николаевича Толстого.

Товарища Толстого Л. Н. всегда отличали принципиальность, чувство ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим. На всех постах, куда его посылали, он проявлял беззаветную преданность порученному делу, воинскую отвагу и героизм, высокие качества гражданина, патриота и поэта.

Он навсегда останется в сердцах друзей и близко знавших его как большой барин, увлекавшийся идеями буддизма, толстовства и опрощения.

Имя Толстого вечно будет жить в памяти народа как зеркало русской революции.

* * * Ворона где-то там кричит

На даче спит младенец

И никого младенец спит

Один – куда он денется-то
Но если кто чужой возьмет
И вдруг нарушит сон его
Милицанер сойдет с высот
И защитит младенца сонного

* * *

Ой, народ ты мой, ты весел
Потому что весел ты
Потому что ты повесил
Лозунг местной красоты
Что он значит? Что гласит?
Уже счастье, что висит

* * *

Так они сидели
На той ветке самой
Один Ленин – Ленин
Другой Ленин – Сталин
Тихую беседу
Ото всех вели
Крыльями повеивали
На краю земли
Той земли Восточной
В Западном краю
Мира посередке
Ветки на краю

Чтобы жизнь внизу текла
(Дмитрий Александрович Пригов
и советская действительность)

Андрей Зорин

Разного рода сочинения (романы, фильмы, научные статьи и т. п.), создававшиеся в советское, по крайней мере в позднесоветское, время, можно условно разделить на пять групп. Первая и пятая, обозначим их буквами *а* и *д*, включают в себя тексты, содержавшие прямую, положительную или отрицательную, оценку режима. Система встречала их появление соответственно официальным поощрением или репрессивными акциями.

Во вторую и четвертую группы входят произведения, напрямую режим не задевавшие, но созданные или в соответствии с одобренными им нормами и образцами (группа *б*), или без оглядки на эти нормы (группа *г*). Как правило, ни те ни другие не вызывали ни полицейской поддержки, ни полицейских репрессий, но тексты группы *б* разрешались и оплачивались, а группы *г* - как бы официально предполагались несуществующими.

Эти дихотомии настолько просты, что на них не следовало бы специально останавливаться, если бы не присутствие в советской культуре достаточно обширной и мощной группы *в*, смешивающей безукоризненную симметричность всей конструкции. Дело в том, что периодически и, в общем, нередко к печати, исполнению, прокату с более или менее значительными осложнениями допускалась продукция, изготовленная совершенно или почти совершенно свободно, вне правил и представлений, заданных режимом. Примеры такого рода приводить бессмысленно - они у всех на слуху и на памяти, но важно отметить, что они слишком многочисленны, чтобы объяснять их цензурными оплошностями власти, вполне умевшей быть и последовательной, и свирепой.

До некоторой степени такого рода либерализм объяснялся все тем же низкопоклонством, желанием продемонстрировать просвещенному Западу, что какая-никакая культурная жизнь у нас все-таки имеется в наличии. Но суть дела, думается, была в другом. Допуская легальное существование сочинений группы *в*, власть создавала своего рода клапан для выхода интеллектуальной энергии большого сообщества людей, которое иначе могло бы оказаться вытолкнутым в сферу политического протеста, где господствовали тексты группы *д*. (Разумеется, речь идет как о производителях, так и о потребителях культурных ценностей.) При этом публикация сочинения группы *в* практически никогда не происходила автоматически, но всякий раз подразумевала процедуру "пробивания", превращая его в очередное исключение из правила. Таких

исключений могло быть сколь угодно много, но сами правила оставались неизблемыми в сознании всех участников игры: и авторов, и цензоров, и публики.

Окуджава в одном из своих стихотворений воспроизвел сон, в котором он в обличье летчика бесконечно вступал в поединок с черным мессером:

Вылетаю, побеждаю,
Вылетаю и опять,
Побеждаю, вылетаю...
Сколько можно побеждать!

Побеждать, или, точнее, выигрывать, было утомительно, но приятно, тем более у такого противника. Отработанная техника демонизации системы позволяла ощущать каждый частный успех как следствие или блистательного расчета и вдохновения, или фантастического везения. И то и другое могло служить достаточным поводом для торжества или, по крайней мере, для обмывания. Поразительно, до какой степени эти поведенческие тактики совпадали с теми, которые реализовывала вся страна, ведя неустанную борьбу за дефицит, борьбу, в которой свои маленькие победы и удачи выпадали временами на долю едва ли не каждого потребителя. Соответственно, с абсолютным злом, олицетворенным системой, происходило примерно то же, что с нечистой силой в гоголевских "Вечерах...", где дьявол превращался в безобидного чертика, которого можно было оседлать, чтобы съездить за черевичками, а также пугать его изображением малышей, говоря им что-то вроде: "Гляди, яка кака намалевана".

Разумеется, для поколения, к которому принадлежит автор этих строк, "прекрасность жизни" в семидесятые годы сильно увеличивалась тривиальной молодостью. И все же сводить все дело к тому, что мы, несмотря ни на что, влюблялись, пели песни, выпивали, а иногда даже закусывали, было бы неверно. Удовольствие от игры в одомашнивание чудовищной системы никак нельзя сбрасывать со счетов. Мощнейшая культура пародии, анекдота, распространенная привычка перекладывать речь набором официальных клише свидетельствовали, среди прочего, о том, что мир советского официоза ощущался нами как "дом родной", как некогда сказал о терновом кусте Братец Кролик. Напомню, что перед этим он долго умолял Братца Лиса "не бросать его в терновый куст", утверждая, что предпочитает быть повешенным или утопленным.

"Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Советское Правительство с глубоким прискорбием извещают, что 10 февраля (29 января) 1837 года на тридцать восьмом году жизни в результате трагической дуэли прервалась жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Товарища Пушкина А.С. всегда отличали принципиальность, чувство ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим".

Любопытно, что весь цикл, состоящий из подобного рода некрологов русским классикам, был написан летом 1980 года, до массового падежа коммунистических вождей, из которых к тому времени успел отправиться в лучший мир только, кажется, Алексей Николаевич Косыгин, чья кончина еще не породила традиции похоронного юмора, забушевавшего три-четыре года спустя. Но Пригов и не реагировал непосредственно на события, занимавшие общественное внимание, он работал со структурами сознания, а официальный некролог или, скажем, набор призывов, воспроизводившийся в другом его цикле, представляли собой жанры с жестко заданными формальными параметрами и, соответственно, были необычайно удобны для выявления этих самых структур. Точно так же стихотворение "Когда безумные евреи..." было написано еще до начала перестройки, отмеченного, в частности, бурным обсуждением еврейской темы и волнами истерических слухов вокруг общества "Память" и предстоящих погромов. Между тем стихотворение это любопытнейшим образом сталкивает характерный антисемитский дискурс со столь же узнаваемыми еврейскими признаниями в вечной любви к России.

Когда безумные евреи
Россию Родиной зовут
И лучше русского умеют
Там, где их вовсе не зовут
А где зовут - и там умеют
А там, где сами позовут -
Она встает во всей красе
Россия - Родина евреев

Как ни странно, сама по себе приговская рефлексия по поводу двусмысленности бытия евреев в русской культуре не столь уж далека от той, которая отразилась в хрестоматийном "Евреи хлеба не сеют" Слуцкого и в других образцах интеллигентской гражданской поэзии 60-х - 70-х годов, но она полностью свободна от ее главной составляющей - ощущения совершенно реальной опасности погрома или душегубки. Поэтому пламенное русофильство интеллигентного еврея на фоне широко распространенного антисемитизма перестает восприниматься как проявление героической жертвенности, приобретая черты отчасти трогательной, отчасти комичной культурной невменяемости. Подобным же образом в отсутствие психологически ощутимой перспективы в любой момент оказаться в ГУЛАГе солженицынско-шаламовский НКВДешник плавно трансформировался в приговского Милиционера.

В буфете Дома Литераторов
Пьет пиво Милиционер
Пьет на обычный свой манер
Не видя даже литераторов

Они же смотрят на него
Вокруг него светло и пусто
И все их разные искусства
При нем не значат ничего

Несложно увидеть в этом опусе разыгрывание мистерии отношений художника и власти, показанных к тому же достаточно жестко и несентиментально. Но самый антураж цедеэловского буфета снимает фатальность разворачивающейся драмы, а главное, - представитель системы - сакраментальный Милицанер оказывается хранителем порядка и гармонии. Мучительная тяга интеллигента к власти становится не постыдным тайным комплексом, но естественным проявлением извечной человеческой тоскою налаженному мироустройству.

Вот придет водопроводчик
И испортит унитаз
Газовщик испортит газ
Электричество - электрик
"....."
Но придет Милицанер
Скажет им: Не баловаться!

Столь же глубинное культурно-психологическое оправдание получает у Пригова уже упомянутое здесь стремление к дефициту - одно из самых фундаментальных свойств советского человека, роднившее интеллигенцию, во многих отношениях страшно далекую от народа, с широкими массами:

В полуфабрикатах купил я азу
И в сумке домой незаметно несу
А из-за прилавка, совсем не таясь
С огромным куском незаконного мяса
Выходит какая-то старая блядь
Кусок-то огромный, аж не приподнять
Ну ладно б еще в магазине служила
Понятно имеет права, заслужила
А то ведь, чужая ведь и некрасивая
А я ведь поэт, я ведь гордость России, я
Полдня простоял меж чужими людьми
А счастье живет с вот такими блядьми

Если продолжить параллель между приобретением дефицитного товара и публикацией (в широком смысле этого слова) неконвенционального текста, то мы получаем любопытнейшую картину. Как известно, Пригов никогда не

пытался печатать собственных сочинений в подцензурных изданиях, что в принципе и не допускалось нормами той артистической среды, в которой он существовал. В стихотворении эта ситуация обозначена декларированным смирением, с которым автор воспринимает свой униженный потребительский статус ("В сумке домой незаметно нес"), и отвращением к тем, кто может свободно располагать недоступными благами. Персонаж, который, "совсем не таясь", тащит из-за прилавка заветный продукт, это, конечно, не Кушнер, еле протолкнувший в печать тоненькую книжечку, а Михалков или, скорее, Евтушенко. Однако отвращение здесь неотделимо от зависти и страстного вожделения. Проекция статусно-профессиональной проблематики в мир магазинов и очередей, подчеркнутая автобиографичностью лирического героя, позволяет выговорить полностью табуированные эмоции.

Таким образом, если песни Галича были оправданием наших пылких гражданских фобий, то тексты Пригова играли ту же роль по отношению к нашим изысканным социальным удовольствиям, вернее, нашей способности их испытывать. Либеральный интеллигент, смотрящий программу "Время", следящий по "Правде" за перемещениями в Политбюро, стоящий в очереди за водкой и колбасой и болеющий за "Спартак", неожиданно обрел поэтическую легитимацию своего модуса существования и систему опосредований, через которую эти фундаментальные стороны его жизни оказывались причастными искусству. Грубо говоря, он получил разрешение испытывать по поводу окружающей действительности не только гражданскую скорбь. Разумеется, наши чувства были куда более разнообразными и без подобного разрешения, но тем сильнее было чувство облегчения, с которым мы его услышали.

Не берусь судить, был ли гомерический хохот аудитории на давних чтениях Пригова адекватной реакцией на его стихи. Сам я, кажется, покатывался громче всех. Конечно, к так называемой "иронической поэзии" с ее недорогой перестроечной популярностью литературная работа Пригова никогда не имела никакого отношения, но, возможно, наш смех и был рожден не столько издевательством над советскими штампами, сколько описанной Брехтом в "Жизни Галилея" радостью открытия. В данном случае открытия в лживом и идеологизированном мире советской социальности сферы незамутненно чистого личного переживания:

Килограмм салата рыбного
В кулинарьи приобрел
В этом ничего обидного:
Приобрел и приобрел
Сам немножечко поел
Сына единокровного
Этим делом покормил
И уселись у окошка
Возле самого стекла
Словно две мужские кошки
Чтобы жизнь внизу текла